

В. Чалмаев

УРОКИ

«ДЕЛЬНОГО» НАПРАВЛЕНИЯ

К 50-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

ОСЕНЬЮ 1952 года в «Правде» появилась очерк «Районные будни» Валентина Овечкина, жившего и работавшего в те годы во Льгове, районном городке Курщины. На первый взгляд, все, описанное в нем, действительно было буднично, привычно. Заканчивая очерк, Валентин Овечкин написал, как бы еще более сужая его обобщающий смысл:

«Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни. Я встречаю таких людей, слышу такие споры, как у Мартынова с Борзовым, в одном районе.

Какие решение примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей, представленных читателю в этих первых главах очерка, — это все нужно еще понаблюдать в жизни».

Трудно было предположить, что этот очерк и его продолжение — «На переднем крае» — окажутся достаточно широкой и крепкой «платформой», социальной и эстетической, для целого реалистического направления или течения прозаиков и очеркистов. Порой его называли «овечкинской школой» или «дельным» направлением. И причисляли к нему — обоснованно или с известной натяжкой — и А. Калинина, автора очерка «Неумирающие корни», и М. Жестева за очерк «Под одной крышей», и Г. Троепольского, автора сатирических очерков о «Прохоре семнадцатом, короле жестянщиков»... Исследовательский, социологический пафос этого направления захватил и С. Залыгина, и Г. Бак-

ланова, написавшего тогда повесть «В Снегирах», и мордовского очеркиста И. Антонова, создавшего хронику своего Ардатовского района... Но, вероятно, никто так органично, глубоко не воспринял уроки исследовательской мысли В. Овечкина, как тридцатилетний — в 1953 году — очеркист, рассказчик, до этого фронтовик, студент Литературного института Владимир Тендряков. Вкус к социологии, борьба с догматизмом мысли и чувства остались в нем навсегда.

Что было в то время, когда появились «Районные будни» В. Овечкина, а затем и очерки и повести В. Тендрякова «Ненастье», «Падение Ивана Чупрова», «Не ко двору», «Тугой узел», наиболее заметным, даже определяющим в литературе о деревне? Надо сказать, не умаляя успехов литературы в целом, что тогда еще воздвигались гигантские, расчетливо бодрые романы-пирамиды, хотя всякое развитие социальной мысли, анализ, конфликты давно замерли в них... Еще удерживалась почти монопольно на сцене незатейливая комедия, где единственный возмутитель спокойствия дурашливый баянист никак не мог прийти в угомон, полюбить полеводство и решить сердечные дела...

Но сложность положения состояла даже не в этом — посредственной беллетристики всегда больше, чем подлинного искусства. И очерки В. Овечкина, и повести В. Тендрякова не изменили этот баланс сразу. Вначале они просто потеснили всякого рода полумифические типажи, классицистические маски, весьма отдаленно напоминавшие людей реальной деревни тех лет. Потеснили и

томогли отыскать само направление исследований, помогли сузить разрыв между жизнью и литературой, найти путь от схематизма к подлинному изображению жизни в формах самой жизни.

Не секрет, что иные критики в то время — и, вероятно, с благородными исходными целями — утверждали концепцию, согласно которой искусство должно только «опережать действительность». «Романтизм в прошлом означал отталкивание от действительности, наш романтизм означает подталкивание действительности», — писал один из критиков. Раздумывая над тем, как все же соединить все три действительности: прошлое, настоящее и «третью действительность» — будущее, один из писателей рассуждал так:

«Могут спросить: возможно ли дать живой человеческий характер таким, «каков он есть», и одновременно таким, «каким он должен быть»? Конечно... Приведу пример из области природы. Яблоко, какое оно есть в природе, — это довольно кислый лесной плод. Яблоко, выращенное в саду, особенно в таком саду, как сад Мичурина, — это яблоко такое, «как оно есть», и одновременно такое, «каким оно должно быть». Это яблоко больше выражает сущность яблока, чем дикий лесной плод...»

Бесспорно, что в рассуждениях об «отталкивании» и «подталкивании», о «яблоке», о литературе как прожекторе, освещающем путь вперед, было разумное содержание: действительно, литература социалистического реализма должна быть социально-преобразующей силой, преодолевать натуралистическую описательность, не застревать во вчерашнем дне. Но в отдельных произведениях тех лет это «опережение» действительности было таким, что возникал отрыв от действительности, бесконфликтность.

Говорят, что теория, мол, стара, но вечно зелено древо жизни. Все это так. Но и на древе реальной литературы о деревне, как показало интереснейшее, удивительно деловое для мероприятий такого рода, совещание литераторов, пишущих на колхозную тему (1955), очень многое было не зелено.

«Кроме героев-невидимок есть еще и пейзажи-невидимки. Именно так можно назвать те бледные, тусклые описания, которыми заполняются еще наши произведения. Вот пейзаж: «Дорога круто свернула налево. Стало хорошо видно Привольное с его садами, речкой, с ветряком на пригорке».



Владимир Федорович Тендряков.

Вот еще картинка: «Они ехали длинной и прямой улицей Привольного. Сады уже отцвели. Пышно распустилась сирень под окнами. Конец весне».

Здесь нет и подобия картины. Здесь есть только одна номенклатура: сад, речка, ветряк. Можно прибавить еще десяток названий: ферма, конюшня, правление, сельсовет, сельпо, — но картина села от этого не возникнет... Герой-невидимка, пейзажи-невидимки — что же это за художественная литература?» — говорил на этом совещании, после доклада В. В. Овечкина, один из очеркистов.

Все эти давние обстоятельства, далекие, к счастью, и от самой изменившейся и преобразенной усилиями партии деревни, и от литературы о ней, объясняют, почему голос молодого В. Тендрякова сразу заставил к себе прислушаться.

«...Шел Саша по полю ржи, сорвал колосок, стал его разглядывать — почти налившийся, зеленый, жестко щекочущий ладонь... Вот он — простое создание природы, хлеб! От него шли по свету бок о бок человеческая беда и человеческое счастье. Не ради ль такого колоска кострами пылали барские гнезда? Не ради ль такого колоска... целые деревни снимались с родных мест?.. Не ради ль такого колоска надорвал свое здоровье его, Саша Комелева, отец?»

Вот он, неласково жесткий ржаной колос, испокон веков политый потом, слезами, кровью. Он и милость, он и горе, он и кормилец, он и убийца — ржаной жесткий колосок!»

В этом лирическом отступлении из повести «Тугой узел», в раздумьях молодого героя Саши Комелева, отец которого, секретарь райкома партии, незадолго до этого умер от инфаркта, ныне не видится ничего необычного. Но взглянуть тогда в колосок — означало взглянуть прежде всего в человека, «самих послушать хлеборобов, что свековали век свой у земли...» Это было не просто лирическое, невесомое и необязательное ни для кого созерцание колоска. Саша, председатель Игнат Гмызин, жалующийся, что «талантами земли не пользуемся», именно в и д я т этот колосок, видят землю не как некое число гектаров и голов скота. А рядом с ними действует и родственник овечкинскому Борзову деятель формального толка — Глухарев. Он ничего этого не видит. Вторую неделю ложатся на его стол сводки, «а ц и ф р ы в н и х з а м е р з л и!» И он носится по району, одержимый одной идеей, одним образом: «Надо сдвинуть замерзшие цифры!». (Очерк «Ненастье»).

Весь накал высокой гражданственности сугубо деловых, проблемных произведений овечкинского направления и заключался в глубоко осознанной противоположности двух подходов к земле. В одном случае руководители вроде Глухарева, Глазычевой («Не ко двору») жили... с цифрами, «замерзшими» или «сдвинувшимися», не видя людей, не учитывая их опыта, держась за свое кресло, ухитряясь, как заметил тогда же Г. Троепольский, добиться невозможного: «Руководить и отвечать — всякий сумеет, а ты попробуй руководить — и ни за что не отвечать». При другом подходе, тоже не игнорирующем планов и расчетов, на первый план выдвигается народная инициатива, естественное стремление людей вести дела на земле лучше, суровая свобода председателя и решать, и отвечать...

Как будто в прямой полемике с недавней бесконфликтностью ряда книг каждая мысль, каждый порыв героев Владимира Тендрякова — председателей колхозов, работников районного звена, колхозников — предельно конфликтны. Всякий тезис живет как бы в плотной среде «антитезиса»; высказываний, рассуждений вообще, не обращен-

ных ни к кому, у него нет. «Зубцы» как бы цепляются друг за друга, и небольшие по объему очерки, повести писателя поражали тогда непривычной остротой конфликтов, страстностью споров, обилием крушений, падений, ломкой человеческих судеб.

«Очерк — рисунок без теней... Письменное краткое... описание чего в главных чертах», — так определял жанр очерка В. Даль в своем словаре. Под пером В. Тендрякова очерк превратился в «рисунок» с перспективными, удлиненными психологическими «тенями». Сами проблемы — планирования, снабжения, сроков сева и уборки, расчетов с МТС, весь круг «хозяйственной социологии» — перерастали часто в проблемы значительности человеческой личности, крепости ее морального ядра.

В очерке «Ненастье» Глухарев, объезжая район, подменяя председателей и распоряжаясь за них, на одной лесной дороге увидел сбитую бурей старую березу. Цифры он «сдвинул», но в душе его растет убеждение, что едва ли что взойдет на еще холодной, сырой земле. Он ощущает, что «подмокла» его репутация и среди колхозников. Виной всему — проклятое «ненастье». Но уже осенью, проезжая через эти же места, Глухарев припоминает и весну, и торопливый сев (сам лично он уже «отсеян» со своего поста), узнает и знакомую лесную дорогу: «Ее (березу. — В. Ч.) давно оттащили в сторону... Трухлявое дерево, не молния сбילה его, нет, не стихия виновата. Была б крепка, спалило, сбילה б верхушку, но выстояла бы. Серединка с гнильцой у этой березы... При первом ненастье свалилась».

Этот поиск «психологических теней» в сфере, где само их существование считалось несколько сомнительным, отождествлялось с «расслабленностью», был крайне интересным, требовал от художника предельной точности. По сути дела, писатель рассмотрел и раскрыл процесс формирования нового типа партийного работника, глубоко осознающего свой государственный долг, весомость своих решений, но не умаляющего опыта самых широких масс. Этот новый характер — Игнат Гмызин в «Тугом узле», становящийся секретарем райкома, и другие герои — формировался в сложной борьбе с деятелями борзовского толка. Владимир Тендряков с завидной прозорливостью рассматривал среди традиционного «руксостава» районных ведомств множество колоритных характеров, интересных «продолжений» Бор-

зова. В повести «Среди лесов» (1953) появляется некий Паникратов, который, «ломая» одного непокорного «тугодума» — председателя Трубецкого, в глубине души видит особую выгоду для себя: «Поднимется шум, будут обсуждения — хватит горя Трубецкой... После этого наверняка станет шелковым. (Разрядка моя. — В. Ч.)». Вот характерный «толкач» Лещева, которая действует всегда наверняка: «...председателя колхоза отодвинет в сторону и давай по-своему орудовать. А она в колхозе — гость... Если получится нечаянно польза, ей — слава: помогла! Не получится — вина колхозных руководителей, не смогли подхватить инициативу. А инициатива-то — пятиминутная!» Есть и хорошие руководители, не жалеющие себя, но с одним психологическим нюансом: «...как ручей по весне, все в одну сторону нес — сверху вниз. Людей любил, добра им желал и не доверял» («Тугой узел»).

К началу 50-х годов закончился восстановительный период, в известной мере требовавший предельного напряжения сил, мобилизации моральных факторов, и появилась возможность учиться хозяйствовать основательно, с опорой на опыт, разум широких масс, научный анализ множества проблем. Нетерпимы стали всяческие субъективные, волюнтаристские «рывки».

Теперь, на качественно новой основе, возникла проблема, которая когда-то, в 30-е годы, связана была с отрывом, несоответствием части хозяйственников, строителей, директоров созданным народом индустриальным мощностям. В самой действительности возникали новые и хозяйственные, и психологические «тугие узлы», а горизонты мышления, приемы работы у части руководителей были еще ветхозаветные. Экономические факторы оставались для них еще чем-то далеким, не использовались, наряду с морально-политическими, как движущие силы.

Тому же Глухареву один председатель говорит, что сеять в снег нельзя, это значит губить зерно и труд, а он в ответ «бил и бил увесистыми фразами: «негосударственный подход», «против государственных планов», «против государства»...

Ушел Федор Соловейков, передовой тракторист, из отравленного стяжательским духом дома жены, где за «огурчики» готовы испепелить любого («Не ко двору»), а комсомольский работник Нина Глазычева уве-

ренно и снисходительно вещает: «Я готова слушать хоть до утра, лишь бы помочь вашей жене и вам освободиться от пережитков». Федор смотрит на нее, беспробудно уверенную, что беседа до утра все решит, с какой-то взрослой грустью и сожалением... Говорить о главном? А что тут главное? И если уж говорить, то «надо бы рассказать все, как встретились, как понравилась Стеша — голубое платье, нежная ямка под горлом, рассказать, как хорошо и покойно начинали жить и как Стеша подходила к нему с разумыянным от печного жара лицом, рассказать про отца ее, про незаконно взятую лошадь... Но разве все расскажешь? Где тут самое важное?»

Но главным и непреходящим уроком прозы В. Тендрякова является социальность, увлеченность его героев делом. Проза В. Тендрякова — это нередко публицистика в лицах, тут все в тексте, тут с волнением внимают слову предельно конкретному, деловому:

«—Молчу? Да я кричал, кричал, охрип от крика. Видать, стенку горохом не прошибешь. Вот у меня в столе лежат рядышком два документа: один — благодарность от райисполкома... за перевыполнение плана по сдаче льнотресты; другой — решение того же райисполкома, где этот колхоз... разносится в пух и прах за нарушение плана сева — недосяял ячменя, пшеницы, пересей лишка льна...»

Жажда вмешаться в конкретные хозяйственные дела, остановить нелепое насилие формальных исполнителей над «талантами земли» у В. Тендрякова столь велика, что он порой оставлял в стороне «инструментарий» психологического исследователя социальных проблем и сокрушал недругов земли более весомым и грубоватым орудием. Но ведь так же делал и В. Овечкин, «забывая» порой о природе очерка, дневника и «вталкивая» в личный дневник одного из героев десятки чисто хозяйственных выкладок...

Но талант писателя был таков, что обычно побеждал и задапность конфликта, и публицистические перегрузки всех элементов прозы. И сейчас, когда наша проза и поэзия преодолела «очеркизм» «овечкинской школы», удивительно цельным, ярким остается замечательный очерк В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова» (1953).

Успехи «дельного» направления были в те годы столь значительны, что даже некото-

рые писатели, творчески далекие от проблем деревни, написали произведения на «модную» тему, — таковы, скажем, «В Снегирах» Г. Бакланова и «Дело было в Пенькове» С. Антонова. Последняя повесть, как и очерк В. Тендрякова, — о запутавшемся в торгашестве, самоснабжении председателе. Герой Антонова председатель Иван Саввич обменял бочку лигроина на... водку. Но тут же с помощью молоденького агронома, под влиянием клубного актива он «перековывается». В конце повести он сам с улыбкой вспоминает о своем прошлом «грехопадении». «Ни за что не пойдет он теперь менять горючее на водку», — делает вывод автор. Это, конечно, говорило и о том, что сама лирическая манера повествования С. Антонова, талантливого прозаика, имела пределы в осваиваемом материале. Но, с другой стороны, этот безоблачно счастливый исход убеждал и в другом: надо, надо было осваивать и суровые, трагические даже исходы нравственных драм.

Интересно, что был и еще один предшественник Ивана Чупрова — герой пьесы Н. Вирты Сила Силыч Тихой в пьесе «Хлеб наш насущный» (1947).

Внешние черты чупровского типа — сильного, кряжистого мужика, человека «с размахом», ловко обходящего законы, — уже промелькнули в пьесе. Тихой тоже умеет привлечь к себе внимание энергией, «демократичностью». Он так не любит «казенной обстановки» для обделывания своих делишек: не удобнее ли сговориться с необходимым человеком в ресторане или «забегаловке»? Не любит он и «бумажной волокиты» — безналичных расчетов и т. д. — не проще ли сразу деньги на бочку? Та же «хозяйская» хватка, видимое выгораживание «своего» колхоза, тонкое лавирование между фактическим преступлением и формально ненаказуемыми поступками. И конец Тихого в пьесе Н. Вирты реалистичен и мужествен для того периода, когда писалась пьеса: не исправляется, а «падает» Сила Силыч.

Но, сравнивая этот образ с Чупровым, видишь, насколько глубже и зорче рассмотрел данный жизненный тип В. Тендряков.

Драматург, вопреки жизни, сделал его коварным, но неумным, прямолинейным «злодеем». «Пока на Казбек поднялся, а в мечтаниях Гималаи держу», — самодовольно заявляет Тихой уже в первом акте. Есть у него и список подачек, где записаны и «районные караси», и «областные щуки». Чест-

ного сотрудника районной газеты он прямо-таки дразнит: «Вы бы уж напечатали весь уголовный кодекс, а внизу приписка: «биография Тихого! Ах-ха!». И в дальнейшем он слишком явно держится своего ампула самодовольного жулика, и весь интерес зрителя сосредоточен не на узнавании характера Тихого (он ясен и неизменен с самого начала), а на том, сколько он еще продержится до формального разоблачения. И поэтому, когда Тихой «падает», мы видим, что падает он только с председательского кресла. Это не поучительно, а назидательно. Когда же «падает» Чупров, мы видим общественное и моральное падение человека, куда более страшное, чем официальное «снятие» или понижение.

...Иван Маркелович Чупров — председатель зажиточного колхоза «Красная заря», талантливый, дальновидный хозяин. Много груда вложит в колхоз, в его нынешнее благополучие. И забродило в мужике радостное ощущение своей силы, удачливости. Оно будоражит его, хмелем славы бьет в голову. И как-то по крупницам улетучилось сознание, что во всех успехах колхоза есть немалая доля усилий парторга Никиты Бессонова, что совершены они в конце концов трудом рядовых колхозников...

«— Прибавилось в нем этакого «я решу» да «я сделаю». «Колхоз—это я!»—с тревогой говорит захавший к Чупрову Бессонов, уже председатель соседнего колхоза.

«—Что ж, за пятнадцать лет колхозники к нему привыкли, он — к колхозникам. Трудно отделить себя от колхоза»,—отвечает ему молодой парторг Алексей Быков.

«— Вот, вот... Сперва трудно отделить себя от колхоза, потом—свое от колхозного».

Да, Чупров уже сейчас, гордый своим особым положением в колхозе, делается «чуть-чуть» небрежным в отличии своего от колхозного. «Мне друг, и колхозу моему (разрядка моя. — В. Ч.) друг», — говорит председатель, незаметно смещая понятия, ставя личное «мне друг» вперед общественного «колхозу друг». На первый взгляд, в этой перестановке традиционных слагаемых, общественного и личного, лет ничего опасного, — ведь сумма, как говорят, не меняется... Но общественные отношения — не математика.

Это сползание Чупрова к беспринципному кумовству, предпочтение приятельских связей общественным еще не очень заметно. Наоборот, временами он обнаруживает спо-

способность по-государственному широко оценивать и беречь колхозную копейку. Встретив директора райпромкомбината, снабжающего колхозы стройматериалами, он прямо называет его «вором»: плохо снабжает он колхозы, приходится им ездить за кирпичом в соседние районы, переплачивать за доставку. «На одну перевозку я около десяти тысяч угрохал. Был бы у тебя кирпичный завод, эти десять тысяч в нашей кассе лежали бы целехонькими. Украл ты их из моего кармана» (разрядка моя. — В. Ч.), — говорит он бесхозяйственному директору. Упрек справедливый. Но как характерны для облика героя эти постоянные «неразличения» своего и общего. «Я угрохал», — говорит он вначале, но затем, словно вспомнив, что деньги-то не его, «поправляется» — «в нашей кассе». Но в следующей фразе снова общественная касса превращается в «мой карман». Расчетливыми, экономными штрихами оттеняет автор эту сторону противоречивого характера Чупрова, превращение, при котором, продолжая радовать за колхозные интересы, «стараться» для колхоза, он в глубине души незаметно выработал взгляд на колхоз как на свою вотчину.

Правда, Чупров еще пробует как-то измениться, даже уйти с председательской должности. Он запрягает лошадь и едет в райком партии. Но что-то удержало его.

«Не горяча ли я?» — возникают неотвязчивые сомнения нынешнего, опустившегося, привыкшего к обману Чупрова. Гаснет хороший порыв, решимость рассказать все начистоту. Этот человек уже расчетлив, лицемерен. И не сказал он секретарю самого главного. «Чупров говорил, хитро улыбался, а в душе с тоскливым холодом спрашивал себя: «Что я говорю? Что?..». «Нужно было говорить, и Чупров, сам удивляясь зазвучавшей в его голосе неподдельной обиде (разрядка моя. — В. Ч.), торопливо стал жаловаться: «...не ведется у нас никакой идеологической работы... Районные лекторы да докладчики мимо ездят».

На первый взгляд покажется случайным, что в голосе Чупрова вообще звучит «обида», да еще «неподдельная», удивляющая его самого, по поводу частного для него момента: «лекторы да докладчики мимо ездят». Важно ли это сейчас для него? Можно подумать, что это поддельное, лицемерное, как весь облик нынешнего Чупрова.

Невольно вспоминается в чем-то психологически сходная ситуация из появившихся тогда же новых глав «Поднятой целины» М. Шолохова. Запуганный, укоряющий себя за опрометчивое решение встать рядом с Половцевым, ненавидевший его за то, что он вверг его в опасную жизнь, Яков Лукич Островнов уморил старушку-мать. Уморил методически, страшной голодной смертью, выполняя приказ Половцева (старушка разгласила тайну пребывания Половцева у Островновых). «Но на похоронах не было человека, который плакал бы так горько и безутешно, как Яков Лукич», — пишет Шолохов.

Парадоксальная, но невыразимо убедительная деталь!

Лукич плачет не из одного притворства, конспирации, он плачет над всей своей долей, связавшей его с Половцевым, поломавшей его обеспеченную, спокойную жизнь...

Не из одного лицемерия рождалась и неподдельная обида, зазвучавшая в голосе Чупрова. Ему обидно за себя, за свою прежде уверенную, содержательную жизнь, ушедшую так незаметно в прошлое. Как это произошло, где была совершена ошибка, он не знает. В чем каяться? Но он чувствует, что не туда зашел в своем «усердии».

...Чупров падает все больше, водкой заглушает свою тоску и неудовлетворенность. Бухгалтер Никодим запугивает его тетрадочкой, где записаны все растраты председателя. Он осознает и сам, что нет выхода — запутался окончательно, смертельно... Мы знаем, как в иных произведениях рисовался финал отрицательного героя. На него, подобно снежной лавине, сваливались все смертные грехи.

Иначе, гуманнее подошел к Чупрову В. Тендряков.

В одно светлое утро обходит Чупров хозяйство колхоза. Он, так любивший говорить «мой колхоз», видит, что колхоз все-таки не «его», что рухнет не сегодня-завтра он, Чупров, с немалым позором со своего поста, а колхоз-то останется. Казалось бы, чего вникать ему в дела колхоза? Но привычка труженика берет верх — дельные советы дает он плотникам, с искренней мужицкой радостью смотрит на появившегося на свет племенного бычка. Эти добрые струны его души звучат в самый трагический момент.

Очеркисты начала 50-х годов, среди которых одно из первых мест занимает и Владимир Тендряков, совершили подлинное откры-

тие, сделавшее возможным появление произведений В. Белова, Е. Носова, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Лихоносова... Они поистине «вырвали с корнем и корни сожгли» иллюстративной псевдолитературы пейзажного плана о деревне, с героями, ситуациями и пейзажами-невидимками. Это забывать нельзя, как бы далеко мы ни уходили. Впоследствии многие из этих художников — и А. Калинин, и Г. Троепольский, и С. Залыгин — увидели исчерпанность школы, обратились вначале к иным временам (началу 30-х годов), а затем и к иным темам. Но не В. Тендряков. И в ряде последующих произведений В. Тендряков сохранил ту же остроту проблематики, которая заметно отличала его первые произведения. Об этом свидетельствует и одна из последних вещей — остро-драматичная повесть «Три мешка сорной пшеницы», в которой писатель на материале деревенской жизни в последнюю военную осень вновь обращается к исследованию излюбленного социально-нравственного конфликта. В повести сталкиваются два принципа руководства — формалистический, основанный на недоверии к людям (его воплощает герой с весьма выразительной фамилией Божеумов), и принцип доверия к сознанию и особенно к совести людей, который олицетворяет искалеченный фронтовик, председатель сельсовета Кистерев. Борьба этих героев, то прямая, то опосредствованная, и становится школой социального и нравственного роста молодого коммуниста, вчерашнего фронтовика Евгения Тулупова.

...Война уже идет к концу. Она ушла далеко от границ, ее отзвуки все глуше доносятся до Нижней Ечмы, районного центра одной из северных областей. В сложном душевном состоянии живут люди на этой земле. Радость — «фашиста стронули», «фашист в бега ударился» — смешивается еще нередко с суровыми, мучительными переживаниями: северная деревня, давно обезлюдевшая, полуголодная, силы людей на пределе — и нравственные прежде всего. Крестьянки в ответ на призыв Тулупова и председателя Адриана Глущева, напомнивших о живых и павших сыновьях, братьях, мужьях, выбивают последние зерна из соломы, «уцелевшие» при первом обмолоте. Но уже нет сил смотреть спокойно на поля,

когда-то оправдывавшие поговорку: «На Ечме не паши, не борони, только зернышко оброни». И председатель сельсовета Сергей Кистерев понимает, что сейчас единственный путь получения хлеба из деревни — это путь предельного доверия, обращения к героическим порывам крестьянской души. «Страх в людях умер, а совесть... Представьте себе, совесть еще жива! Так давайте и пользоваться тем, что живо», — говорит он Божеумову.

Но эта новая нравственная мера вещей и событий, на которую и надо положиться (прагматическое словцо «пользоваться» едва ли удачно найдено писателем), не всеми еще, может быть, усвоена. Положиться на совесть, на то, что люди сами поймут доброе слово, в представлении Божеумова означает — пустить дело на самотек, утратить дорогую ему возможность громыхнуть приказом, блистательно доложить о «своей» победе, продвигнуться, «пересесть с запяток на облучок». Писатель вступает в хорошо известную ему сферу острейшего идейного спора о принципах руководства, о цифрах и живом человеке, о гуманизме подлинном и карьеристической спекуляции на высоких понятиях.

Владимир Тендряков — и последняя повесть яркое свидетельство этому — убеждает в том, что опыт «дельного» направления, опыт социального и нравственного анализа событий, является необходимым и актуальным и в наши дни.

Бесспорно, значительна заслуга писателя, постоянно исследующего человеческие характеры и проблемы, выражающие дух социального обновления, прямо связанные с творчеством масс. Владимир Тендряков — создатель целой галереи образов партийных работников, фигур из «председательского корпуса», подлинных самородков, знающих «таланты земли», — прошел большой и поучительный путь. Цена хлеба, великий смысл труда на земле, красота душевных порывов людей деревни, проявляющаяся даже в трагически трудных обстоятельствах, — все эти понятия в его произведениях предстают как истины народной жизни, они лишены книжно-созерцательного оттенка. Путь пройденный — это предыстория новых творческих успехов, нового взлета крупного дарования писателя.